

## Григорий Померанц

### Россия на перекрестке культур

Я обратил внимание на то, что в дискуссии о России почти не учитывается теория цивилизаций; либо ее вовсе не вспоминают, либо приводят отдельные оценки, звучащие как похвала, не вникая в смысл слов. Например, разгорается спор, Европа ли Россия или Азия, не задавая себе вопроса, – какая Азия? К какой именно из цивилизаций, разместившихся в Азии, Россию можно отнести? Не замечают, что Азия – понятие физической географии, в географии культур такой единицы нет.

До наших дней дожили две субглобальные цивилизации, примыкающие к Средиземноморью: Северно-Западная и Юго-Восточная, с примыкающим к ней Ближним Востоком, и две Индийско-Тихоокеанские, слабо связанные присутствием буддизма.

Когда средиземноморский Восток был представлен Византией, до 1054 г., это были две части единого христианского мира (за границей которого осталась персидская держава, соперник Византии). После истощения Византии и Ирана борьбой за первенство, наступил час ислама. Иран был завоеван, Византия медленно рушилась еще тысячу лет и рухнула. Но ислам остался в родстве с Западом (хотя и враждебном родстве). Его корни – как и корни Запада – в Иерусалиме и Афинах. Другое дело Индия (с примыкающими к ней маргиналами) и Дальний Восток. Там непривычная структура сознания, другая логика, там не имеют смысла слова «монотеизм» и «политеизм», там нет закона исключенного третьего. Шпенглер был почти прав, – «араб никогда не поймет китайца» (во всяком случае, поймет только с огромным трудом). Водораздел религий и культур – не между Европой и Азией, а между Средиземноморскими цивилизациями и Индийско-Тихоокеанскими.

Я заговорил о субглобальных цивилизациях. Сразу же поясню термины. Примем за рабочее определение цивилизации слова Эмиля Дюркгейма: группа стран, объединенных единым духом (милье), который каждая из них по-своему выражает. Формирование таких групп шло долго. Их исторические предшественники – рыхлые круги, возникшие вокруг Шумера, Аккада и других очагов письменности. В этих кругах начались попытки империй «четырех сторон света», сбитых мечом и лишенных духовной связи. Только после тысячи лет бесплодных войн начали складываться так называемые мировые религии и возникли имперско-конфессиональные единства.

Это, собственно и есть начало субглобальной цивилизации. Ее основные параметры: единая группа священных текстов; единый язык священных текстов, довольно долго остающийся международным языком науки и поэзии. И третье: единый шрифт, который заимствуют и все новые языки. Цивилизация не сводится к трем признакам, но это ее паспорт. Латиница – обложка паспорта Запада, куда бы он не дошел, хоть до Австралии. Арабская вязь – обложка паспорта ислама. Шрифт деванагари (вместе со шрифтом священных книг буддизма) – граница Южноазиатской цивилизации. Употребление иероглифов, китайских по своему происхождению, – граница Дальнего Востока. Тибет культурологически в него не входит.

Россия – страна, развивавшаяся на перекрестке субглобальных цивилизаций и испытывавшая глубокое влияние по крайней мере трех и скорее даже четырех из пяти возможных. Одно влияние ломало другие, но не могло совсем сломать его, и возник своего рода слоеный пирог из разных сортов теста. Что это дало в психологии русского человека? Что это дало в истории страны?

Я приведу три отрывка из сочинений писателей, обладавших исторической интуицией. Первые два отрывка – из «Игрока» и

«Подростка» Достоевского, третий – цитата из размышлений Синявского в лагере, собранных в «Голосе из хора».

«Я, пожалуй, и достойный человек, – говорит Алексей Иванович, – а поставить себя с достоинством не умею. Вы понимаете, что так может быть? Да все русские таковы, а знаете почему: потому что русские слишком богато и многосторонне одарены, чтоб скоро приискать себе приличную форму. Тут дело в форме. Большею частью мы, русские, так богато одарены, что для приличной формы нам нужна гениальность. Ну, а гениальности всего чаще не бывает, потому что она и вообще редко бывает. Это только у французов и, пожалуй, у некоторых других европейцев так хорошо определилась форма, что можно глядеть с чрезвычайным достоинством и быть самым недостойным человеком. Оттого так много форма у них и значит». И далее: «Оттого-то так и падки наши барышни до французов, что форма у них хороша». Это из гл. V «Игрока» слово форма повторяется шесть раз.

Одна из причин несобранности русского ума – сплетение нескольких культур, участвующих в формировании России. Это противоречивое богатство трудно уложить в прочно сбитую форму. В Европе или в офранцузенном высшем свете герой Достоевского чувствует себя «не таким, как надо». Не только как разночинец, но как человеческий тип, слишком много в себя впустивший, слишком открытый Другому. Граф Толстой тоже чувствовал себя *comme il ne faut pas*. Я это уловил еще студентом, потому что сам был близок к переживанию *comme il ne faut pas* в советском обществе, и первым человеком *comme il ne faut pas* признал Гамлета. В переломные эпохи “не такие, как надо”, становятся расхожим типом. Но наиболее одаренные из них действительно несут в себе какую-то незрелую, ломкую, но подлинную широту, превосходящую штатных фортибрасов. И Версиков, попав в Европу, чувствует себя единственным общеевропейцем, подлинным европейцем, превосходящим французов,

немцев и других носителей частностей Европы, осколков Европы, которую он воспринимает как единую империю духа.

Я цитирую отрывки, разбросанные по трем страницам: «У нас создан веками какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, которого нет в целом мире... Нас, может быть, всего тысяча человек – может, более, может, менее, – но вся Россия жила лишь пока для того, чтобы произвести эту тысячу. Скажут – мало, вознегодуют, что на тысячу человек истрачено столько веков и столько миллионов народу. По-моему, не мало... Один лишь русский, даже в наше время, то есть гораздо еще раньше, чем будет подведен всеобщий итог, получил уже способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец. Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех, и у нас на этот счет – как нигде. Я во Франции – француз, с немцем – немец, с древним греком – грек и тем самым наиболее русский». Об этой одинокой русскости Достоевский писал, вернее говорил, и в своей Пушкинской речи.

Синявский подхватывает и сплетает оба мотива: чувство неловкости среднего человека, не такого, как надо, и чувство гения, взлетающего над ограниченностью штатного европейца, француза, немца, англичанина. Русскую широту Синявский выводит из Святого Духа, который веет, где хочет, но особенно свободно – в России, именно потому, что она так и не сложилась в устойчивую, замкнутую форму, потому что в ней полно метафизических щелей. Картина, которую он рисует, выводит нас из области индивидуальной психологии и дает целостный образ народа, создает нечто вроде «идеального типа» русской истории, как сказал бы Макс Вебер, образ русского клубка противоречий – и делает это легко, играя, наслаждаясь радостью игры в духе постмодерна, не поколебленного и за колючей проволокой.

«Религия Св. Духа как-то отвечает нашим национальным физиономическим чертам – природной бесформенности (которую со стороны ошибочно принимают за дикость или за молодость нации), текучести, аморфности, готовности войти в любую форму (придите и володейте нами), нашим порокам или талантам мыслить и жить артистически при неумении налаживать повседневную жизнь как что-то вполне серьезное... В этом смысле Россия – самая благоприятная почва для опыта и фантазии художника, хотя его жизненная судьба бывает подчас ужасна.

От духа – мы чутки ко всяким идейным влияниям, настолько, что в какой-то момент теряем язык и лицо и становимся немцами, французами, евреями и, опомнившись, из духовного плена бросаемся в противоположную крайность, застываем в подозрительности и низколобой вражде ко всему иноземному. Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь. Слово для нас настолько весомо (духовно), что заключает материальную силу, требуя охраны, цензуры. Мы – консерваторы, потому что мы нигилисты, и одно оборачивается другим и замещает другое в истории. Но все это оттого, что Дух веет, где хочет, и чтобы нас не сдуло, мы, едва отлетит он, застываем коростой обряда, льдом формализма, буквой указа, стандарта. Мы держимся за форму, потому что нам не хватает формы, пожалуй, это единственное, чего нам не хватает, у нас не было и не может быть иерархии или структуры (для этого мы слишком духовны), мы свободно циркулируем из нигилизма в консерватизм и обратно» (с. 613). Я думаю, что Синявский имел в виду недостаток внутренней, духовной структуры, формы. Именно от этого он выводит избыток внешней бюрократической регламентации.

Эта блестящая характеристика может быть обоснована, не упоминая всуе имя царя небесного, утешителя, духа истины. Восточнославянские племена обладали повышенной гибкостью и восприимчивостью. Я обязан

Д.А.Мачинскому замечанием, что финны жили в лесах, скифы – в степи и только восточные славяне освоили территорию от Белого до Черного моря. Но подобные достоинства можно признать и у племен банту. Подгоняемые высыханием Сахары, они прошли сквозь влажные леса до степей Южной Африки. Великую культуру банту при этом не создали и не создали бы ее древляне и вятичи, если бы к славянскому дичку не были привиты чужие ветви. Византийская ветвь дала Андрея Рублева. Западная ветвь дала Достоевского и Толстого; форма романа, которую они развили и использовали для полемики с Западом, сложилась под пером Сервантеса и укоренилась во Франции и Англии, прежде чем попала в Россию. Так же как образ Троицы, усовершенствованный Рублевым, имеет долгую историю до возникновения России. Синявский прав: русский гений способен влиться в любую форму (и усовершенствовать ее – добавлю от себя), но теряет силу, когда нужно создание форм.

Культура, развивающаяся на перекрестке мощных духовных влияний, в некоторых случаях способна к созданию новой самостоятельной цивилизации. Но этому мешали периодические ломки, не дававшие устояться в тишине, как устоялся Тибет. Русские показали себя учениками, способными превзойти своих учителей, но в формах, созданных учителями. Это и сегодня хочется напомнить, в связи с попытками воскресить мертворожденную Евразию. Русскую национальную культуру хочется продолжать с того места, на котором ее рост оборвали большевики. Не пытаюсь упразднить многослойность России, но только превратить глухую вражду принципов в цивилизованный диалог.

Россия восприняла открытость Богу от византийской иконы, доходившей до сердца и без знания греческого языка; и восприняла западную – с эпохи Ренессанса – открытость миру и человеку, ставшую родной для русского интеллигента. Но еще до этого Россия восприняла из

Китая, – через монгольское посредство, – систему подушной подати и круговой поруки, созданную самой антикультурной из китайских династий, сжигавшей книги и топившей в нужниках конфуцианских ученых. Это наследие Цинь Шихуанди и его вельможи Шан Яна стало мощным рычагом в руках князей Москвы – «самого отатаренного из русских княжеств», по характеристике Г.П.Федотова. Фискальная система, по которой община платила подать и за тех, кто бежали от фиска, заставляла посадских людей самих просить о запрете им менять место жительства. В том же направлении менялось положение крестьянства. Мощь Московии, а потом империи Российской, росла одновременно с ростом и ужесточением рабства. Эту характеристику Федотова впоследствии повторил Гроссман, не зная Федотова. Однако удальцы, не мирившиеся с рабством, уходили через открытые границы на юг до Терека и на Восток до Чукотки, до Аляски и даже до Сан-Франциско. Или восставали, не умели создать новой власти и возвращались под ярмо. Продолжая свой бунт в форме кражи, если барское добро плохо лежит, как и сегодня это длится.

Так сложился русский слоеный пирог, сдавленный самодержавием, но не спеченный и периодически грозивший распадом и смутой. Казачья воля сотрясала рабство, византийский чин не ладился с европейскими правами человека. Сравнительно с этим пирогом Франция, Марокко или Корея кажутся булками, спеченными из одного куска теста, сотни и тысячи лет развиваясь в рамках одной субглобальной цивилизации, одной иерархии святынь.

Можно возразить, что древняя Русь по основам своей веры входила в византийский культурный круг, а остальные влияния были внешние, не вторгаясь в святая святых. Но святая святых была представлена только иконой. Византийцы не потрудились распространить свой язык, как это сделала римская церковь. Город Рим завоевывали варвары, но латынь

твердой рукой держала западный мир. Византийский культурный круг не был достроен до законченной субглобальной цивилизации с единым языком церкви и вершин культуры. Как и эллины в споре с Римом, он не сдал экзамен на аттестат политической зрелости.

Субглобальная цивилизация – это единое пространство информации, сохраняющееся и без империи. Возникали новые нации и новые языки, но понимание их было облегчено стандартным шрифтом, а на Дальнем Востоке – единой системой иероглифов. Таким образом, сохранялась единая система ценностей. Между тем, византийцы перевели на древнеславянский язык лишь Библию и псалтырь, то есть общехристианские тексты. Добротолюбие, собрание святоотеческой литературы, собственно и составляющее основы православия, в отличие от католичества, стало доступным русским читателям только в XVIII веке. В это время при дворе уже читали Вольтера. Без единого языка церкви единство православного мира не могло сохраниться, когда пал Константинополь. Никакой православной цивилизации сегодня нет. Что общего между Грузией и Румынией? Какой общий дух они выражают? Единство конфессии само по себе не создает единства цивилизации. Хангтингтон говорит о православной цивилизации от нечистой совести. Если признать, что маргиналы византийского культурного круга стали маргиналами Западной цивилизации, то американская авиация бомбила христианскую Сербию. Гораздо приличнее бомбить православную Сербию, которая не ближе христианской Америке, чем Ирак.

Византийское влияние никогда не было всецелым, Россия развивалась в пространстве между субглобальными цивилизациями. Попытка выстроить и утвердить уникальную культуру Третьего Рима уперлась в недостаток культурных ресурсов. После духовной трагедии XV века, о которой писал Г.П.Федотов, после разгрома заволжских скитов, где прививалась культура молчаливого созерцания, исихии, духовный уровень



русского православия резко упал. Это видно по ответам Стоглавого собора на вопросы Ивана IV, по уровню полемики с латинством. Выход из тупика невежества был только в восстановлении общеевропейских и общехристианских связей. Петр I прежде всего добивался военно-технических знаний, но оказалось невозможным отделить платонов от ньютонов. Я имею в виду стихи Ломоносова, что может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов земля российская родить. Через 100 лет после Петра родился Пушкин.

Поворот к Западу еще более усложнил многослойность России. Европейское часто воспринималось поверхностно и неполно, но в глубоких умах оно рождало глубокие сдвиги. Я не знаю литературы, в которой паскалевское чувство одиночества человека во вселенной было воспринято с такой остротой, как у Тютчева, Толстого и Достоевского. Вызов космической бездны, по-видимому, поддерживался чувством социальной неустойчивости, страхом социального и нравственного распада. Николай Федорович Федоров, конечно, крайность, но все-таки в России эта крайность была возможна, ею интересовались великие писатели. В Англии, Франции, даже в Германии «Философия общего дела» Федорова просто немыслима. Способ, предложенный Федоровым, чтобы победить смерть, нелеп. Но сама идея победить смерть совсем не смешна. Во всяком случае не больше, чем подвиги Дон Кихота. Отождествите себя не с эго, а с образом и подобием Бога, который каждому дан, с бессмертным началом в глубине сердца, и вы коснулись бессмертия – настолько, насколько это удалось и на тот миг, когда это удалось. И в стихах Тютчева, на некоторых страницах Толстого и Достоевского тоска по бессмертию меня захватывает и в мои двадцать лет оттеснила на второй план Стендаля, с которым вместе я четыре года боролся с духом коллектива и постигал любовь. И вся западная литература немного потускнела. Она была слишком человечна. Не ревела она от сознания

бессилия, почуяв на плечах еще не появившиеся крылья, как тварь скользкая в стихах Гумилева.

Рильке писал, что могучая жизненность Толстого, его страстное сочувствие жизни каждой травинки неотделимы от его невыносимого страха смерти, стоявшей все время за плечами. И могучая творческая воля Достоевского, направленная к гармонии, неотделима от его острого, невыносимого чувства дисгармонии русской (и всякой) человеческой жизни. Сон смешного человека снится на грани отчаяния, на краю пропасти. В конце концов, в царстве творческого воображения вызов pro и contra получил Достойный ответ, и отказаться от этого вызова, пустить свои духовные корни на спокойном, отлившемся в свои формы Западе или в относительно цельной старой Московии – все равно, что променять первородство на чечевичную похлебку. Русь шире, чем западничество и славянофильство. Но жизнь в России бывает ужасна. Политического гения России не хватает. Государство сжимает, сдавливает противоречия, но не может заменить органического процесса перехода от скрытой войны несовместимых начал к открытому и плодотворному диалогу. Как только внешний зажим слабеет, центробежные силы вырываются наружу; а потом усталость от анархии заставляет массы искать нового деспота.

Мировые достижения русской культуры были и до сих пор остаются достоянием творческого меньшинства. Так было в XV–XVI вв., когда государь ездил по монастырям поклониться святым иконам, а потом правил как татарский хан и относился к своим боярам, как к рабам. Так было в начале XX века, когда заново был поставлен вопрос о диалоге византийских и западных начал. Тогда князь Трубецкой написал свое «Умозрение в красках», Флоренский – книгу об иконе и экспедиция Грабаря нашла на кадках с огурцами и капустой потемневшие лики архангела Михаила и апостола Павла, а перевернув ступеньку, по которой ступали грязные ноги, увидела на ее обороте потемневшего Спаса.

Потом поиски были брошены. Всё перечеркнул бунт солдат, уставших от войны, и политический гений Ленина, сумевшего использовать хаос для утверждения новой диктатуры, прикрытой новым призраком, всемирной коммунистической утопии. Она рухнула еще более бесславно, чем допетровское самодержавие, прикрытое призраком Третьего Рима. И сейчас русская масса снова делится на две неравные части: одна бежит через границы, снова открывшиеся, с надеждой на волю, а другая подставляет шею под ярмо, с надеждой на порядок. И только у немногих есть вера, что сами пороки нашей страны имеют достоинство вызова, достоинство вопроса, не дающего спокойно спать. Митрополит Сурожский однажды процитировал Ницше: тот, в ком нет хаоса, никогда не родит новую звезду.

Наша болезнь сливается с болезнью всей христианской цивилизации, только в более острой форме. Вялая, хроническая форма, западная форма удобнее для жизни, и если искать удобств, то лучшей клиники нет. Но в удобствах и наслаждениях – роковая приманка. История все время создает кризисы и требует порыва, чтобы выйти из кризиса. А после взрывав энергии XX века, закончившихся массовыми убийствами, Запад не доверяет никакому энтузиазму и ищет смысла жизни в наслаждениях, в покое, в эгоистической замкнутости от тревог. Отступая шаг за шагом перед натиском гастарбайтеров с Юга и Востока, Запад может еще долго сползать по наклонной плоскости и медленно, комфортабельно вымирает. Даже на то, чтобы завести семью, не хватает энергии. Вымираем и мы, но у нас все острее, невыносимее, и это отчасти хорошо, это толкает в глубину, искать чудесных сил, скрытых в глубине, потому что на поверхности спасения нет. Россия снова, как это понимал Версилов, призвана держать в уме весь средиземноморский мир, из которого она, несмотря на китайскую круговую поруку, никогда не выходила полностью и безвозвратно.

Широта русской культуры не несет в себе никаких политических гарантий. Смута в форме кражи и коррупции может продолжаться долго, слишком долго, до распада и гибели всех политических структур. Против инерции распада ведет неравную борьбу бескорыстная работа меньшинства, борющегося за нравственное возрождение – в школе, в семье, на улице.

Возможности культуры, развивающейся на перекрестке субглобальных цивилизаций, не исчерпаны. Была бы только не исчерпана воля искать в своей суеде колодцы в глубину, часы созерцания, как находил их Синявский в лагере, на общих работах. В этих колодцах можно найти источники творческой энергии, способной остановить упадок, источники новых сил борьбе с новыми препятствиями. И образ Рублевской Троицы можно прочесть как образ нового человека, переходящего от созерцания к действию и от действия и истощения в действии – к новой, еще большей глубине созерцания и к новым, чудотворным силам. Каждый из нас несет в себе семя чудотворца, но мы не даем ему вырасти.

Россия вряд ли, в обозримом будущем, станет благоустроенной страной. Но само ее неустройство вдохновляло Толстого и Достоевского. Оно может вдохновить и наших потомков.